

ВЯЧЕСЛАВ СТАВЕЦКИЙ

ЖИЗНЬ А. Г.

Вячеслав
СТАВЕЦКИЙ

ЖИЗНЬ А. Г.

роман



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С83

Художник Ирина Сальникова

В оформлении переплета использованы фрагменты живописных работ Джеймса Энсора

Ставецкий, Вячеслав Викторович.
С83 Жизнь А.Г. : роман / Вячеслав Ставецкий. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 316, [4] с. — (Неисторический роман).

ISBN 978-5-17-115595-7

Вячеслав Ставецкий — прозаик, археолог, альпинист. Родился в 1986 году в Ростове-на-Дону. Финалист премии “Дебют” (2015) и премии им. В.П.Астафьева (2018), публиковался в журнале “Знамя”. Роман “Жизнь А.Г.” номинирован на главные литературные премии.

Испанский генерал Аугусто Авельянеда — несчастнейший из диктаторов. Его союзникам по Второй мировой войне чертовски повезло: один пустил себе пулю в лоб, другого повесили на Пьяццале Лорето. Трагическая осечка подводит Авельянеду, и мятежники-республиканцы выносят ему чудовищный приговор — они сажают диктатора в клетку и возят по стране, предьявляя толпам разгневанных рабов. Вселенская справедливость торжествует, кровь бесчисленных жертв оплачена позором убийцы, но постепенно небывалый антропологический эксперимент перерастает в схватку между бывшим вождем и его народом...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-115595-7

© Ставецкий В.В., 2019.
© ООО “Издательство АСТ”, 2019.

Часть I

Пистолет дал осечку. В отчаянии Авельянеда еще глубже пропихнул вороненый ствол, так, будто позор можно было затолкать в рот, но прежде, чем он успел снова нажать на курок, ворвавшийся гвардеец вышиб вальтер ударом веского, громоподобного кулака. Схватившись, они стремительным вальсом понеслись по обсерватории — два пылких, легкомысленных кавалера, только один чуть грузен, полноват: одышливая, оступающаяся борьба тяжести и физической силы. Авельянеда правил к вальтеру — тот закатился под стойку приборной доски, гвардеец — к зеркальному шкафу, в котором, вздрагивая, отражались неловкие *ra de chat* и *ra de bourée* их страстного танца. В коридорах еще затухали отзвуки схватки — последние *guardia negro* боролись с штурмующими, — грянул сдавленный выстрел, кто-то пожаловался, захрипел, сопение переросло в рык, потом снова в жалобу и —

скольжение обессиленных ног по паркету. Полнота брала верх: Авельянеда пыжился, кряхтел, но вел их шаткий дуэт к вожделенному вальтеру. Два шага, три, но когда цель была почти достигнута, бом! — вдруг сказало, звеня, осыпаящееся стекло, зал сотряс топот подкованных ног, и уже не одно, но три, пять, восемь тел навалились, давя, хватая за вымя, за подбородок, за что ни попадя, отнимая такую близкую, но такую неверную, внезапно изменившую смерть...

Когда всё было кончено, Пако Фуэнтес, гвардеец, пленивший Авельянеду, вышел покурить на террасу. В стороне, положив каску на мокрый, чуть тронутый изморозью парапет, дымил замурзанный лейтенант, задумчиво глядел вниз, на долину; еще дальше, в углу, двое республиканских солдат мирно, с прибауткой, обчищали мертвого черногвардейца. В груди саднило от горного воздуха: приятная, но с непривычки немного пугающая холодноватая тяжесть. На юге, за длинным грязновато-бурым зубчатым кряжем громоздились вершины Сьерра-Невады — Пико дель Велета и Муласен, уже заснеженные, затянутые по краю паволокой дымчатых облаков. Внизу, по дну длинного заболоченного ущелья, тянулась колонна крохотных студебеккеров, в которых покачивались ряды еще более крохотных касок — ненужная уже подмога, батальон опоздавшего на победу Рафаэля “Вальдо” Мартинеса.

Так кончилась эпоха Аугусто Гофредо Авельянеды де ла Гардо, диктатора и бога, более известного Испании и всему миру как А.Г.

За свой подвиг Фуэнтес удостоится капральских нашивок и пожизненной пенсии от правительства. Он умрет два года спустя от заражения крови, которое получит, порезавшись о лезвие плуга в родном селении под Бадахосом за три дня до начала полевых работ. Плененный им Авельянеда переживет Фуэнтеса на двадцать пять лет.

* * *

Казнь вершилась во Дворце правосудия, на высоком помосте, временно возведенном на месте судейской кафедры. Бóльшая часть зала была погружена во мрак, и только на сцену падал сноп электрического света, который выхватывал из темноты деревянный столб с перекладиной и петлей, край вишневой бархатной драпировки и нависающий над помостом плафон пышнотелой люстры, дешевой подделки под бронзу и хрусталь, появившейся здесь в годы Второй Республики. За окном, неплотно замкнутым тяжелой гофрированной портьерой, виднелись пыльные развалины Мадрида.

Последним на эшафот взошел бригадный генерал Серхио Роха, верный Роха, который еще месяц назад, в Альто-Гвадалкивир, похлопывая себя стеком по голенищу и гневно поводя седыми усами, отдавал приказ о расстреле пленных республикан-

цев. Перед тем как под его ногами вышибли доску, генерал, с презрением глядевший на своих палачей, прокричал: “Да здравствует Авельянеда!” — и забился в петле жестким сухопарым телом, как пойманная рыба на леске — старый печальный паяц, заводной клоун, бездушная марионетка. Присутствующие стоя аплодировали палачу, который ловко вытащил удавленину из веревки и бросил ее вон со сцены. Авельянеда, принужденный лично присутствовать на спектакле, был уверен, что станет следующим, но вместо этого на помост взошел высокий тощий судья в парике а la Людовик XIV и, развернув желтоватый пергамент, торжественно объявил, что за преступления перед испанским народом и человечеством он, Аугусто Гофредо Авельянеда де ла Гардо, в назидание потомкам приговаривается к пожизненному “публичному заключению” поочередно — в течение трех дней — на главной площади каждого из городов Республики, где эти преступления (следовал подробнейший список) были совершены. Судья еще говорил, отхаркивая в темноту клочья голубоватой пены, а сцена уже плыла, уже разваливалась на части, приобретая жуткую податливость миража. Авельянеда слушал, чувствуя на себе злорадное внимание всего зала, неподвижный, бескровный, прямой, крепко стиснутый с обеих сторон бойцами штурмовой гвардии. Сбывался — и притом с разительной точностью — самый сокровенный его кошмар. Незадолго перед падением он признавался своим генералам,

что больше всего боится не смерти, но плена, того, что мятежники посадят его в клетку и станут показывать публике, как зверя.

Этим решением он был обязан главе нового кабинета, Горацио Паскуалью, который знал о страхе диктатора со слов его личного адъютанта. Накануне, в парламенте, многие стояли за смертную казнь, но Паскуаль, умница и блестящий оратор, убедил коллег, что предъявленный публике живой тиран принесет Испании куда большую пользу, нежели мертвый, отданный на съедение червям. “Сохранив Авельянеде жизнь, — говорил Паскуаль, — мы навсегда избавим страну от диктаторов, ибо кто из нас (тут он лукаво подмигнул депутатам) пожелает присвоить себе власть, рискуя повторить его незавидную судьбу?” Были, однако, усомнившиеся, и после обеда премьер пригласил оппонентов к себе в кабинет, откуда телефоновал сначала в Лондон, а затем и в Париж. Рукой Паскуалья, снимающей с рычага лакированную трубку, двигал простой дипломатический расчет: ведь Англия и Франция оказали Республике военную помощь и были весьма заинтересованы в том, чтобы человек, втянувший Испанию в войну на стороне Венского пакта, понес заслуженное наказание. Паскуаль долго обаятельно улыбался, кокетливо крутил пальцем кудряшки телефонного провода, болтал под столом ногами и под конец получил не только полнейшее одобрение, но и самый благоприятный отзыв о своем замысле. К северу от Пиренеев сочли,

что это будет небывалый антропологический эксперимент, своего рода передвижной музей одного тирана, весьма поучительный как для зрителей, так и для самого экспоната; а чуть западнее, за Ла-Маншем, попыхивающий бульдожий голос в трубке резонно заметил, что минувшая война была войной диктаторов, и после того как один пустил себе пулю в лоб, а другой три дня провисел на Пьяццале Лорето, с наилучшими последствиями для своего здоровья, было бы разумно сохранить для истории хотя бы одного из них. На следующий день предложение Паскуаля было принято большинством голосов.

После, в кулуарах, куски веревки, на которой был повешен Роха, продавали по тысяче песет за штуку — новенькие, хрустящие банкноты с приятным шелестом исчезали в руках счастливого палача. К вечеру, набив карманы выручкой, бедолага вдрызг нарезался в дворцовом буфете, бесцельно плутал по вымершим коридорам, задевал статуи и кланялся плешивым портретам, ломился в запертые чуланы и справлял нужду в кадки с цветами, пока не вышел во двор, где уже вовсю розовел беспечный мадридский закат. Здесь еще былолюдно, полупьяные гости упражнялись в стрельбе по чучелу черногвардейца — набитой соломой кукле с пришпиленными к груди звездами времен Империи. Палач слонялся вокруг да около, давал советы, как стрелять, раза два пальнул сам, промазал, выпил еще вина, выкурил полпачки американских сигарет, долго по-иди-

отски смеялся в углу, рассказывая корзине с капустой сальный, очень сальный анекдот про ту старую шлюху, что пришла в гости к бабушке в Духов день. Когда все разошлись, а над дворцом взошли новехонькие, республиканские звезды, он посе- рьезнел, ополовинил еще пачку, сунул сигарету чу- челу в рот — так-то, брат, не грусти, и не такое бы- вает, а после, прищелкивая пальцами, затянул дол- гую, нескончаемую мунейру, где было что-то про пристань, и корабли, и ждущую девушку вдалеке. Так, хрипло припоминая слова, он бродил по двору, а под утро, желая напиться, утоп в бочке с водой, куда по неосторожности слишком глубоко зачих- нул свою буйную голову. Вползающий во двор тя- желый, брюхатый облаком рассвет обнажал его по частям: стоптанные рыжие сапоги, перепачканные в мелу синие брюки со штрипками, торчащая из кармана нежно-фиолетовая купюра.

Так же, частями, солнце обнажало старинную Пласа-Майор, где часом ранее в тени конной статуи Филиппа III появилась большая железная клетка. Охранявшие ее карабинеры — по одному на ка- ждом углу — украдкой позевывали, скребли пятер- нями затылки; самый пожилой из них, северо-вос- точный, мирно дремал, опершись о поставленную стоймя винтовку.

Горожане заметили клетку и замершего в ней человека не сразу. В столь ранний час многие просто проходили мимо, заспанные, торопливые и оттого не слишком наблюдательные; лавочники сонно от-

пирали двери, снимали с витрин деревянные щиты. Лишь к исходу седьмого часа, когда с клетки сползла королевская тень (Авельянеда сразу почувствовал себя нагим), прохожие начали останавливаться и смотреть, со всех сторон обращая к нему большие, цепкие, разящие насквозь глаза. Чуть погода зрители стали появляться и на балконах — крутобокие матроны в папильотках и кружевах, их небритые и полубритые мужья в ночных штанах с отвислыми коленками, с шипящей в сковородке треской, дети: тут — аккуратная школьница в бело-голубом платье, там — розовощекий карапуз с добавочным куском тортильи в руках, усатые служащие и машинистки, старые хрычи и молодые праздные недоумки. И здесь были только глаза, спокойные, немигающие, с воловьим упрямством глядевшие в одну точку, коей был он сам, затравленный и одинокий.

Было слышно, как где-то далеко, в глубине дома, радио, прочистив горло, заиграло по ошибке упраздненный имперский гимн.

* * *

Такие же глаза он видел повсюду — в Галисии и Астурии, Кантабрии и Риохе, Наварре и Арагоне. Города оспаривали друг у друга право первыми принять свергнутого диктатора, и не будь его маршрут заранее утвержден республиканским правительством, взялись бы, чего доброго, отстаивать это право с оружием в руках.

Всюду, где появлялся его черный, клейменный буквами “А.Г.” запыленный фургон, он собирал целые аншлаги ненависти, вакханалии злопамятства, карнавалы вражды.

“Чествование” начиналось еще в полях, на подъезде к городу, где тюремный “дожд” с клеткой и узником встречала пестрая толпа зевак, жаждущих вкусить от мести самые сладкие ее первины. Загорелые оборванные работяги на велосипедах и стареньких тархтящих “меголах” следовали за фургоном, сигналиая и улюлюкая, босоногие мальчишки шлепали по лужам, бросая в зарешеченное оконце комья грязи, женщины осыпали бронированный кузов репейником и колючками — цветами зла, собранными специально к его приезду. Всё это напоминало пародию на свадебную процессию, довольно гнусную пародию, достигавшую апогея в центре города. Под звон церковных колоколов и клаксоны автомобилей, в сопровождении почетного эскорта из горляющих юнцов и потрясающих клюками бродяг он въезжал на главную площадь, где его ждало волнующееся море человеческого гнева и невысокий деревянный пьедесталец с надписью “Государственный преступник”. Там, на этом пьедестальце, под защитой всего нескольких равнодушных карабинеров, Авельянеда проживал страшные, головокружительные часы, расплачиваясь, как ему казалось, за грехи всех тиранов в истории. Ибо только так — возложением на него вины Калигулы и Нерона, Кромвеля и Бонапарта, бесноватого ба-

варского лавочника и толстозадого повара из Романы — он мог объяснить себе подобную участь.

Каждый день, с той самой минуты, когда клетку с ним выгружали из “доджа” и устанавливали на пьедестал, до багровой зари, когда его отвозили в местную тюрьму (где был короткий занавес сна с прорехой ужаса посреди и беспощадный утренний поворот ключа в замке — сигнал о возвращении на площадь), Авельянеда погружался на самое дно горячей, хорошо протопленной преисподней, помещенной в самом жарком месте сердца его народа. Он глож от криков и улюлюканья, в которые люди старались вложить всю свою ненависть, скопленную за долгие годы, он слеп от множества зеркал, которые ему протягивали со словами “Посмотри на себя, убийца!”, он задыхался от дыма, которым его окуривали с воплями: “Изыди, дьявол! Возвращайся в свой ад!”. Он познал возможности испанского языка по части ругательств — возможности поистине безграничные, ведь из одних только животных, с которыми его сравнивали, можно было составить обширнейший зоопарк. Он открыл, до какой непристойности могут дойти испанские женщины, ибо слова и жесты, коими одаряли его эти прекрасные Мерседес и Тринидад, по достоинству оценили бы в любой казарме, в любом разбойничьем логове. Он постиг жестокость испанских детей, которые надрывали свои цыплячьи глотки, стараясь не отстать от матерей и отцов, хотя многие из этих маленьких чертенят даже не знали толком, кто он такой.

Они легко могли смести охрану и полицейских и растерзать его, но не делали этого, ибо позор свергнутого божества радовал их сильнее его смерти. Злобу они срывали на символах его власти, срывали с таким упоением, словно боль, причиненная этим символам, могла передаться ему самому, ненавистой диктаторской плоти. В Саламанке площадь была усеяна партийными значками “Великой Испании”, объявленной вне закона вместе с ее проклятым главарем, — мириады маленьких серебряных звезд хрустели под ногами разнузданной черни, свершающей на осколках его государства свой бесславный варварский танец. В Ла-Корунье на его глазах с колонны сбросили имперского орла — прекрасное бронзовое изваяние, которое берегли специально к приезду черного “доджа”. Едва птица, прыгнув в воздухе крыльями, рухнула на тротуар, сверху на нее взобрались два предприимчивых голодранца и принялись топтать и оплевывать ее на радость беснующейся толпе. В Бильбао его статую работы Зангано свергли с пьедестала и крушили кувалдами до тех пор, пока она не превратилась в груды щебня, а в Сарагосе мраморного каудильо увенчали короной из колючей проволоки и окатили свиной кровью, липкой, уже свернувшейся, — к вечеру памятник облепили мухи. Они жгли его портреты, имперские флаги, школьные учебники, в которых он прославлялся как спаситель отечества, облигации военного займа, пластинки с записями его речей, военные плакаты и календари с да-